

Таша КАПИТОЛИНИНА (г.Москва) САНЬКА



1

Темным дождливым вечером вся семья сидела на веранде вокруг стола и чистила грибы. Стол был накрыт газетами, посередине стояла керосиновая лампа. По углам веранды залегли тени...

Санька знает все наперед: желай не желай — не бывать больше этому!

И остались позади усадебное приволье, разнотравье да вишенье, дом с наличниками и бабушка, вечная печаль. Да память, что нет-нет да карточку-картинку на ломберный столик выкинет.

А то еще была зима — захватали врасплох, и на заштрихованных белым обуглено-черных яблонях застыли мерцающие стеклянным свечением шары. Весь август — сентябрь по яблокам буквально ходили, ноги весело разъезжались, оскальзывались, и тянуло ненасытно снова и снова взламывать хрустящую наливную крепость.

А Москва — а что Москва? Ласковая мачеха. Обхватила — окрутила, подхватила, вихрем подняла, с три короба в уши нашептала — напророчила. Сбылось, не сбылось — в обиде не оставила: ларцы да дверцы, потайные слова да жарынь-птицы... Хошь не хошь, а себя найдешь. А уж каким да как себе глянешься таким-то разэтаким — не обессудь, не спрашивай. Уж как скроен да стачан, наметен да замешен, то не ее, Москвы то ись, лихое дело, ее беда-забота — сострочить да выпечь, пригрозить да высечь. Полно, Санька, не горюй. А она и не горевала. Случалось, конечно, и взахлеб и навзрыд, да про то одна Москва и знает. А ее, богу слава, слезьми-то не возьмешь, Москва и есть Москва, — нагляделась, наслушалась — слезам

ли

верить...

Вот и Санька думала в тот морозный день, что и дышать больше не сможет. Как землю долбили — искры от лома отскакивали. Ноздри слипались, вломило под... —столбики в термометре едва хватало, и вслед за старшими Санька в душе молила: «Мужики, не подведите!» Не подвели, ни вот столько от двух-то метров не отступили. Санька, уж попрощавшись, перед тем, как гроб закрывать, опять припала к пергаментному лицу. Не в исступленьи, не в забвеньи себя, именно это только и хотела: еще раз, в самый последний, перед тем, как непоправимо навсегда, в никогда, навечно... И вызверилась, ощерилась, когда кто-то чужой, из поминальных завсегдатаев, бросился свою игру разыгрывать — причитать да оттаскивать.

И потом еще сколько недель подряд выгадывала минуточки, чтоб остаться в доме окончательно одной, так, чтоб уверенной быть — не вспугнут, не помешают, не застигнут. Проверяя на отзывчивость звенящую тишину, всхлипывала: «Где ты?» И подождав, погодя — снова: «Где ты?» Брела неприкаянно к осиротевшей кровати, встав на колени, обнимала изголовье и оглашала рыданьями не отзывчивую пустоту. Или во дворе, прижавшись спиной к промерзшей поленнице, раскинув руки, искрививши до безобразия лицо, выла страшно, безмолвно, безутешно.

И оттого, когда громом среди ясного неба грянуло: и Санькину школу летом закрывают, и мама — учителька — немка теперь без работы, а в городишке и санитаркой теперь не зацепишься, и получается один выход — все продавать да ехать, а и некуда и не к кому, Санька приняла случившееся как знак милосердия. Кончилась же здесь жизнь, кон-чи-лась. Вот и весна прошла пресная: цвето — мрело — грозами полоскало — соловьями ухало — да все мимо Саньки. Ее хвалят, как чередом да ухватисто,

по-бабушкиному в огороде по земле управляетъся: межу ли оправит, рассаду ли выведет, а она только кривится, точно вожжой по спине вытянули.

И все-то ей не благоуханье — запахи, не переливы — звуки.

— Едем, — мысленно поторапливает Санька мать. — Едем.

И уехали. Точно сбежали.

И рухнула Москва к ним в объятья! Запричитала — слезливо, заполошно — театрально! Черт те что: ошалела, задушила, затискала. Подолом лоскутным, васильблаженным заполоскала, жаром-лаской обдала, сама размякла, да и их разнежила, а минутку погодя враз и отвернулась, как и не была: у Бога всего много, ступайте, падчерицы!.. Чтоб ей ежа против шерсти родить!

И понеслись квартиры, квартиры, квартиры, станции, станции, лица, лица, лица ... А уж обид, обид, что палого листа в Нескучном саду! Марина-мама орлицей крылья вскидывает, все оперенье в лоскут посечено, да разве ж за лубяным щитом липовой регистрации в задир идти? Вон они, горемыки со всей России, в метро с баулами маются: неделю переезжают, три живут. И опять — вот вам бог, а вот порог. Нет, не обидели, нет, не нарушили, нет, вовремя и исправно, да. Только нам столичным пресненъко — все чего-то в новинку да в кислинку хоцца. Сле-ду-ю-щий!

Только школа у Саньки как была, так и осталась та самая, первая, имени погибшего журналиста. Как предчувствовала Санька, что не слюбится, не сладится все по первому разу. На то и вышло. Накануне намечтала себе деда-героя. Вот надел он свой выходной Армани, не поленился над сердцем знаки-ордена прикрепить. Подогнал стального окраса Nissan к самым воротам школы и, пока шел от ступеней крыльца, зажав в железной горсти Санькину лягушачью лапу, под дулами заряженных картечью взглядов неистовых пубертатных московитов, не оставляя ни малейшего шанса, вещал с

чистейшим оксфордским произношением о предстоящем им праздничном обеде в ресторане «Прага». Тут Санькины проблемы и кончились, не успев начаться.

А в яви получилось — ну просто свернись в узелок и спи!

Марина-мама все выслушала и постановила: во-первых, Санька, у тебя все углы острые, во-вторых, почерк у тебя и правда — код наваху (если всем понятно, это неправильно? жаль и сама с трудом понимаешь написанное), в-третьих, а ему, ты думаешь, легко было? С маменькой — одна досада, папа — жадина. Жа-ди-на! Соблаговолите принять бальные туфли моей молодости! С пряжками! Что? Человека делает дружба? Что бы он такое был без «друзьямои прекрасеннашсоюз»? Человека, Санька, делает умение отказываться и сопротивляться

обстоятельствам... Ладно, поехали.

Поехали на Павелецкую — купили chesterovские башмачки и самоучитель Бонка.

Санька отмякла. А потом за кофе и мороженым в Macdonalds возьми и расскажи, как почти перед самым отъездом в Москву у дальней родни в деревне была.

Чердак-то пы-ы-льны-ы-й, свет снопами из окошка прямо в глаза! Вдруг смотрит — книжка боль-ша-а-я валяется. Бросилась Санька за добычей, тут враз ее по голове, в лоб ударило и из глаз искры полетели. Звезды — снопами, снопами! Санька скорей присела и ну руками искры прибивать — гасит, чтоб не вспыхнуло. Там же опилки поверх земли толстым слоем насыпаны. И все сухое-сухое. Ужас!

Марина останавливает:

— Саньк, ты заливаешь. Искры-то из глаз?

Санька кивает:

— Из глаз.

И помолчав:

— Хорошо тебе рассуждать. Я задним умом тоже крепка. А тогда думать некогда было. Ты ли пожара в деревне не видела? А там кошелки пеньковые, лапти, дерюжки! Все сухое-сухое!

И закинув голову, кудахчат от смеха. И Санька между приступами вставляет:

— Это ж матица была! Я ее против света не увидела и лбом протаранила!

Потом, угомонившись, сидят молча.

— Книжка-то того стоила? — наконец говорит Марина.

Санька, загипнотизированная виденьем, коротко кивает:

— Пушкин.

Пушкин примирил ее с Москвой.

— Санька! А погулять?! С мальчиками!

— Не, мам! Я с Пушкиным.

Прогулки. С Пушкиным.

Пушкин-то?! Сказки писал, стихи, да все на свете писал. Была у него красавица жена да четверо ребятишек. Он их так и называл: Сашка, Машка, Гришка, Наташка. А дальше? А дальше — колдун мутноглазый. Данте называется...

А еще? Еще? Одним, чтобы быть свободными, надо надеть маску. Другим, наоборот, снять. А иные с рождения свободны, как... вот как трава. Это и есть — Пушкин. Пушкин, он — все. Он везде.

И Саньке хорошо с ним. Им вдвоем хорошо.

Весной в Сокольниках в черных лошинах с черной водой. А черпнешь — враз серебряная. Весело указывать друг другу на истлевшие за зиму стрекозиные крылья слюдяных курносиков, и на ивовые сережки, насборенные из дымчато-зеленых конусов. Ты заметила? — Клен и вишня зацветают одновременно. Да, сбрасывают лаковые кофейные скорлупки. Скорлупки? — Клювики. Как хорошо — клювики! И подвески, нанизанные из желто-зеленой пыльцы. И новые клубочки папоротника. Все высохло и не звенит — терхает глухой жестью. Но подожди, подожди!

И первая — о чудо! — поливочная машина. И бодрящая скипидарная вонь от свежевымазанных бордюров. И бомжиха, ужарев, рассупонивает за углом свое страшidлое тряпье. Отвернись, судорога!

Плюнь, Санька, не со зла же! Глянь-ка: там, вдали от тепла, сквозь дегтярный лежалый лист пронзилась салатовая травяная шпажка. А на алюминиево-мертвых прутьях — какого? — какого-то дерева выстрелили редкие да живые зеленые розетки. И вон как стянута в узел вверху у горизонта трамвайная колея!

Хорошо? Хорошо, Санька!

Хорошо и летом в Серебряном бору на обсыпанной золотом малахитовой просеке. И под желтым лохматым солнцем среди зеркальных луж и омытого асфальта, сплошь запорошенного желтой россыпью кленового цветения. Пышный зеленый прибой до... до ... до. И по водной глади золотые головки обойных гвоздиков. И зеленая-зеленая зелень! Да пунцовое и алое в цепкой путанице шиповника. И рядом гравики ковылька и тимофеевки. Описать нельзя — можно только любоваться!

И — приготовься, Санька! Готова? Ба-а-л! Бал! Осень!

Стоит жить целый год, чтобы снова добраться до Осени...

Стоит жить целый год, чтобы снова добраться до Осени...

Вот и обдало лисьим жаром от подлеска с рыжими подпалинами. И порскнуло сдавленной пичугой сердце. Поплыли вспученные рыбины филалетовых туч, и потом чье-то бессвязное очейочарованье. Утвердился под сутулым небом не порванный непогодой забронзовелый куст. Вот и сухие тени полощут по асфальту, острыми наконечниками царапается ясень. Кланяются обугленные будыльки пижмы. Тронула кромки разбежала алость. Сверху дымные тучи, у ног пестрый полог — свернулись в трубку шелковые лапки. Потом и хмурость растащило, вспыхнули феерические краски заката. Заворонились в кустах такие русские в цветовой своей сдержанности воробы.

И поплыли из вагонного окна липы, еще обрызганные желтым, усталая зелень, опять хмурая небесная рвань, и замелькали, замелькали бурые скатки слизшейся лежалой листвы, и на клумбах цветные опилки, и промоины и колдобины, нарытые временем, и чувства, чувства, чувства из самого подвздошья.

Стоп! Птичка. С палевой нежной-нежной шелковой шерсткой. Санька поначалу так и подумала — шерстка. С черным носом-носочком и розовыми надбровьями. И крошечный угольный плюмажик над ними...

А скоро!.. А там!.. А вот-вот въедливые метели и ватные снегопады! И праздной, Санька, двоюродная варежка пушкинской шубе! Самый Новый год!

Пушкин — он не знает запретов. И все-все при нем приобретает форму иль выливается из границ.

Усядься, муга: ручки в рукава,

Под лавку ножки! не вертись, резвушка!

Хочешь за ним следом взвиваться пухом, выписывать по городу завитушки и вензеля, настигая расторопной мыслью все на свете: дерзкий слоган, детскую одиночество, театральное — в метро, напоказ — чужое волнение в крови?

Так возьми, так решись, так шагни в зыбкую, ныряющую под тобой дюймовочковым переростком грецкую скорлупу, чтоб — не может быть! — устоять, держась даже не за взгляд, а за перисто тающий след

его просвистевших

на

пути к морю упругих волнообразных

строк —

Шуми, шуми, послушное ветрило,

Волнуйся подо мной, угрюмый океан.

Протяни руку судьбе, Санька! Доверься! Оставь, не ворочай камни мирозданья. Растворись в предложенном. Вступи с благоговением на заповедную тропку только твоей сказки. Она только тебе и предназначена, только тебе ее и проживать, прядь нить пестрой канители твоей жизни. Ты покружи-покружи у развилки, на выходе с полянки, попыхти да потужься мозгами — не в дровах же ты их нашла! — а потом и шагни безмысленно, не мудрствуя, как сердцу ли, животу ли глянулось. Слушай судьбу, Санька! Она уже в тебе.

«Нечаянный случай всех нас изумил», — говоривал Пушкин.

Верь, Санька. Уж его слово крепче гороха.

В случай ли, в анекдот, в заячий тулупчик.

C est la vie.

В востроглазую судьбу. Не мудри да не умничай. Покойных и беспомощных ей ли обойти.

Скользи легко и вольно в пестрой веренице чужого праздника.

Авось, и на тебя пожалуются: «Странное смешение в этом великолепном создании!»

Бог даст, и тобой восхитятся: «Странное смешение в этом великолепном создании!»

Расположи душу к живейшему восприятию впечатлений.

Не бойся пустоты. Се — сосуд. Полноты ищущий. Пространства! Полета!

Не бойся подлой прозы жизни. В ней к Белкину ближе. К Чехову.

Будь аристократична. К первому же ясеню подойди и поклонись: Здравствуйте, а я — Санька!

Хорошо тебе, Пушкин! Вот ты уж и нарицательный — сам себе чин, звание, престиж и должность: здравствуйте, а я — Пушкин!

А ты попробуй, Санька! Анонимность ваша — в таком-то городе! — уж и не щит — меч стала. А ты выходи из дома как к колодцу за водой: встреча — событие. Ну как, ничего? Дурного ничего? Видишь? —

со-бытие...

Не тулупчик дорог. Плечо. Жест.

Возлюби, как самого себя.

И в театре вашем московской самозваной пугачевщины, в дворцах-избах, золотой бумагой оклеенных, ищи наперво рукомойник на веревочке — вода ли выдаст...

Да, вот еще что. Целовалась ли Натали с прекрасным кавалергардом? Я смертью своей завещал — не целовалась! И быть по сему!

И так год за годом, год за годом — один — оголтелый — Пушкин!

3

А время — на то оно и время! Время свое взяло. Вон дни идут, и-дут, и-ду-у-т, а оглянешься — разлетелись, отскакивая жареной кукурузой!

Теперь Санька о себе так понимает: Санька — «Улисс», сама себе форма — идея. Вот это долгое тело, припухлые губы, пшеничная волна по плечам — она. Но это не совсем она — она шире этой нелепости. Как есть книги из слов, а есть сквозные, где содержимое больше слов — символов.

Гасит в комнате свет и замирает у окна. На площадке у дома всплескиваются и гаснут последние детские крики.

В кухне готовится новогоднее застолье...

Все как во сне — жизнь и смерть равны друг другу... Кому под силу полюбить то, что осталось от меня?.. Парить вне скреп, зацеп зависимостей, принадлежностей, классификаций... Двор в оленьих рогах. Заснежен. Заворожен. Московский дворик.

Чу, шум дождя накатывает издалека прибоем. Вот! Вот! Ну! И наконец нахлынул, облюбовав наш с бабушкой сад, и, выступив прелюдию по карнизу, остался в нем до обеда. А когда ты смотришь в сад, ты и вовсе становишься невидимым. Жизнь разворачивается во всей простоте, а тебя будто нет.

Саньке тонко. Смутно. На сердце весело — тревожно. Дождь лупит по окну.

А это? Стволы. Стволы, отсчитывающие такты. Ствол — тakt, ствол — другой. Глянешь вдаль — нотный стан натянутых проводов и тактовые черты распялок.

Откуда мне знать, что я вижу? Какой из эпизодов станет в следующей жизни основным?.. Вон и Пушкин прыгает и скачет, гуттаперчевый и грустный, как Бастер Китон.

Если родное — ветошь, если чужое — обноски...

Смутно Саньке. Тонко.

Оттого часто достает с полки Питера. Старшего, мужицкого.

За двести лет до нашего, архангельского, сам себе фламандский Ломоносов.

Грубая вещная жизнь. Тяжелые ткани. Жесткие изломы одежды. Бесполая обувь.

Как это у него получается? Вот, например, «Возвращение стада». Что здесь такого? Коровы. Их крупы и устойчивые задницы. Откуда ж у меня, у зрителя, думает Санька, выздоравливающая уверенность в незыблемости мироздания? В то, что так, как здесь, в землистой и серо-зеленой гармонии мир будет существовать до века?

И вечен будет круг сезонных работ. «Сенокос», «Жатва»... Благодатный жар и золото созревших полей. Ритм обыденного мужицкого труда: широкий замах косца, грузная пластика крестьянки со снопами... Приземистые, плотные, почти квадратные хозяева земли.

Саньку не собьешь. Это и есть рай. Пульсация бьющей в височную косточку упрямой крови. В раю водят хороводы, играют на волынках, ткут, мечут кости, пашут, жнут. Жизнь и суeta жизни — одно, общий исток бьющей природной энергии.

Как «Страна лентяев» — это ад. Никому недосуг дорезать бегающего с ножом в боку поросенка. Вечный обморочный сон праздной сытости.

Мастер Питер — Шутник. Питер — мудрец.

Он и библейские сцены разыгрывает на фоне фламандских пейзажей.

Почти потеряна среди пестрого люда согбенная фигура Спасителя с Крестом. Заткано ватой снегопада поклонение волхвов. Именно так все и было: бегство, хлев, труды и искушения, упреки в гордости, наглый смех... А по-воловьи набухшие от тяжести на лбу

и на руках жилы с десяти шагов уже едва различимы. Вот и катится, незатейливо обтекая Его и Крест, рядом и дальше своим вечным чередом живая, многоликая река Жизнь. Ни эйфории, ни уныния. Ни раздумья.

Санька, как и Творец, смотрит с самой высокой точки на цепи скал, долины, морские просторы, горизонты, горные потоки — на все, что сплавлено в космос земли.

А в кухне вон готовятся к новогодью, а все о своем... Бандерлоги... Оппозиция... Отсутствие программы...

И каждый из московских вождей, додумывает Саньку, — брейгелевский Икар, обреченный по-мальчишески взбрыкнуть ножками в морской пучине. Оттого что только в согласии с природой, с народом, настигая могучий мировой ритм, добьешься успеха.

...Если мне не изменяет память, вы в свое время работали на радиостанции «Свобода»... Так вы там работали, а теперь возглавляете общенациональный канал российского телевиденья. Это ли не признак либерализма?

... Вова, отойди от больной матери!

... Женя, выключи! Это, Марина, Vox Humana, премьерзидент! Ага, выключи, пожалуйста, этот яйцемяющий Vox Humana! Все, все, выключил! Санька, иди праздновать!

Вот и мама с дядей Женей неуловимо другая стала. Прямая, строгая, а светится, точно свечечка. А может, просто время. Вон и Саньке в школе теперь хорошо живется. Но брови всегда наготове...

Санька! Праздновать!

Праздновать, так праздновать...

Винцо живенькой мышкой-норушкой шмыгнуло куда надо. И сразу потеплело. Пока в желудке.

— Ну, девчонки, чтобы жили мы спокойно-спокойно, но совсем не скучно! Чтоб не все на свете принадлежало кому-то другому! Чтоб, как и хочется Саньке, она в этом году поступила в медицинский и стала кинорежиссером!

— Мам, ты его любишь?

— Саньк, прямо при мне?

— Мам?

— Люблю? Ничего не имею против.

— Да, Марин! Как хочешь, так и понимай!

— ...Так на чем мы остановились?..

— ...Что политика — в столицах, в провинции — растения... Что до декабря мы думали,

как под маленьким полковником и его яйцеголовой свитой утратили способность к прямохождению... Что они — это Что, а мы — это Где...

— ...Бог с ними. Праздник же... И среди них попадаются люди.

— И у них была мама? Нет, девочки, бывших разведчиков не бывает.

— Не горячись. Вот Кудрин...

— Политическая Швейцария? Кому попало казну, бандитско-чекистский общак не доверяют. Вот и жили: кому — все и даром, кому — монетизация льгот.

— Счастье, и за что оно такое нам?!

— Все не так плохо, как пишут, все гораздо хуже. Впереди разобран мост, а паровозная команда гуляет в вагоне-ресторане...

Санька подходит к окну. Фонари ткут и ткут, выткали целые дорожки.

— Что там, Саньк? Гуляют люди?

Санька кивает:

— Пипл. Твоя очередь, дядя Женя.

— Охлос.

— Спецнарод.

— Homo Electoratus.

— Быдломасса.

— Расчадились, огарки.

Жмут друг другу руки.

— Девочки, поговорим светски, без надрыва.

— Светски, говоришь? А что мне делать, Жень? Я верю в митингующих, а в митинги не верю. Я не верю в перемены. Одна автократия сменится другим патернализмом? Человеку нужны три сердца: одно для Бога, сердце чистое, для ближних —

сердце милостивое, и для себя — сердце строгое и острое. А у нас что на поверку? Все как всегда: задумывают революцию идеалисты, осуществляют прагматики, плодами пользуются негодяи. Нет, я не верю и в идею русской власти какtotема. «Русский ген» не фатален. В любом случае он не в индивидах. В иной социальной обстановке наши люди становятся вполне способными к горизонтальным

договорам и гражданскому поведению.

— У мамы инфарктное отношение к истории, — пацифистски встревает Санька.

— Главное в институте власти не качество, а ее сменяемость. А так что? Посадим на шею другого царя?! И загонят всех в новый угол! И будем мы сидеть рядом и писать письма друг другу в позе античного отчаянья?! Боясь издать лишний звук?! Безумство храбрых хорошо петь, когда веришь. А как мне быть? Кто меня услышит?

— Сахаров вообще говорил шепотом, — инакомысляще вставляет Санька с ложной ста ромодной задумчивостью.

— А самое страшное, знаете что? Они — это мы, наделенные властью...

— ...Что ни сядем — на раскаленное железо, что ни встанем — набитое стекло...

— Я знаю, что делать, — говорит Санька, переливая из руки в руку елочное ожерелье. — Я почищу свой лучший цилиндр и насовсем покину дом, где всегда очень тихо и пахнет травой и потревоженная столетняя паутина. И руки у меня будут по локоть в муке, потому что мне это очень идет... Ну, родители, что у нас фейс такой пасторальный? Слабонервный — плохо, сильно нервный — тоже. Где выход? Как быть?

— Вот еще что, — продолжает она. — Продукты в Таганском УВД принимают только в фабричной упаковке. И рассчитывайте не только на меня — в тюрьме принято делиться.

Взрослые откладывают вилки.

— Ну раз до Саньки дело дошло, наша арестократическая гопота с аферистом на доверии пусть теперь клювом щелкает, — первой говорит мама.

— Надо знать эрогенные зоны коллективного бессознательного...

— Же-еня!

— Вот так, Марин, каждый раз проходят наши романтические свидания.

— Похоже, так проходят все свидания нашего времени.

Санька слышит про это со всех сторон: в трамвае, в очереди в кинотеатр, в художке, в школе, по радио, из обрывков, донесенных необычайно теплым декабрьским ветром:

... они хотят иметь дело только с нефтью и населением, а не с технологиями и гражданами!..

... вся реальная политика сводится к распилу денежных средств!..

... серьезный художник должен быть готов к серьезному разговору с властью — для танго нужны двое!..

... выборы — это только инструмент!..

... коррупционная хунта с бюджетом из средств налогоплательщиков, взяток, откатов, подпольных казино и контрафакта, наркоторговли и контрабанды!..

... власть и чужие деньги, распиханные по офшоркам!..

... в мировое сообщество интегрировалась только наша элита!..

И совсем новое, свежее, бодрящее: «Долой самодержавие!» и «Объединяйтесь же!»

А фонарик у подъезда соткал уже целый половичок.

Выходи гулять, Санька!

4

А ведь только год назад Саньке думалось так.

Вся надежда на машину времени.

Санька все-все продумала. Надо точнехонько попасть в 3 февраля 1863 года, на перекресток Литейной и Невского, что близ типографии Вульфа. Ах, нет, он же по дороге ее потеряет.

Тогда... все по порядку. Деньги скопировать — не велик труд. За жилье, за хлеб-квас. А случись деньги выйдут, если уж нельзя тюте́лька в тюте́льку день и час рассчитать, что

ж, так тому и быть, Санька согласна глухонемой юродивой прикинуться и милостыней пробедовать, сколько придется.

Но 3 февраля в час дня нужно быть в Санкт-Петербурге у гостиницы Демута. Взять извозчика и ехать за ним, в оба глаза глядя не мигаючи. А как выронит — выпадет, тут уж коршуном налететь.

И домой. Извозчик! Извозчик! Погоняй!

Поворот. Поворот. Повороты...

Наконец-то: по набережной канала в Гражданскую. Шаровой молнией. К себе, на четвертый этаж. И не затягивать — враз печурку растопить. Лист за листом, лист за листом — гори, грядущий хам! До основанья, а затем... Кто был ничем, тот станет всем, гори! Необыкновенные люди с их необыкновенными снами! Пылай, пахарь-оратай! «За одну ночь перепахал меня!» Чтоб гудело и выло за заслонкой. Паровозно. Празднично. Выдрано жало!

А назавтра номерок «Ведомостей С.-Петербургской полиции» купить, чтоб убедиться, дух перевести.

Вот оно, черным по белому: «П о т е р я р у к о п и с и. В воскресенье, 3 февраля, во втором часу дня, проездом по Большой Конюшенной от гостиницы Демута до угольного Каера, а оттуда через Невский проспект, Караванную и Семеновский мост до дома Краевского на углу Литейной и Бассейной обронен сверток, в котором находились две прошнурованные по краям рукописи с заглавием «Что делать?». Кто доставит этот сверток в означенный дом Краевского, к Некрасову, тот получит пятьдесят рублей серебром».

Вот и все.

Никто не доставит.

Можно возвращаться. К себе, в двадцать первый...

... А если не подгадаешь и раньше угодишь?! Вон, Санька читала, девятнадцатый-то век уже вовсю разогнался, а... в Казани что ли, кажется, в Казани, анатомию крамолой и ересью объявили и все, что было в анатомическом театре, местного батюшку заставили отпеть и похоронить.

Санька, когда свет выключит, у заснеженного окна стоит и так все представляет...

Отцу Василию здорово не спится. Он встает, снова кружит по комнате. Трогает на окнах белесые от предутренних сумерек занавески, рукавом ночной сорочки трет запотевшие стекла.

— ...и не черезмерное. По заслугам-с... по заслугам-с, — подражая кому-то произносит он, указывая перстом в низкий потолок. — Темна водица в облацах... Ни зги... Ох-хо-хо, прости господи. И почему же я? Потому сие есть честь и доверие, — и крестит рот.

Снова садится на постель, взбивает препышные подушки.

— Квасцу испей, — спросонья подает голос матушка.

— Ну-ну, дремли, — он привычно похлопывает по крутому боку богом данную и с ногами забирается на высокую перину. — Темна вода в облацах. Суди нас, господи. Грехи невольные... Наставь и вразуми. Дело неслыханно, дело невиданно...

В ногах урчит потревоженный кот. Пред образами, перемигиваясь, теплятся лампадки.

Тихо. Дремно...

А что же днем?

Встревоженные вороны тучей срываются с купола, грают и черными хлопьями оседают в кружевных кронах кладбищенских лип. Заунывно выводит погребальный колокол. Облаченный в белое отец Василий хмурится, искоса бросает опасливый взгляд в сторону накрытой домовины...

Саньке смешно и грустно. Отпеть и похоронить. А уж к той поре Пирогов на поприще вступал.

И на себя теперь смешно, потому как знает Санька — ничего в прошлом изменить нельзя. И
справедливость. Иначе жизнь потеряла бы смысл.

Да знает Санька, знает все и про кротовые норы — черные дыры, и про параллельные вселенные, и про закон физики для всего, и про «мы видим прошлое солнце», и про андрогенный коллайдер — вдруг да правда червоточину-мостик обнаружат?..

Но как-то вдруг и сразу словила, нутром ухватила — это счастье, что ничего в прошлом изменить нельзя. И в будущее соваться ни к чему. А вот служить ему всею силой — возможностью — достойно.

И опять — возлюби, как самого себя.

И не укради...

И не возжелай...

И человеком будь — не муравьем, муравьем черным, которого Господь не только видит на черном мраморе в самую черную ночь, но и слышит звук шагов его...

... Что ж это я? Еще подарки не вручены!..

5

Диво дивное, чудеса чудесатые — еще неделя пронеслась, как и не бывала...

... *Oxicoccus microcarpus*... *oxicoccus microcarpus*... клюква мелкоплодная... *oxicoccus microcarpus*. *Rubus chamaemorus*... э-э... *rubus chamaemorus*... морошка обыкновенная. *Vaccinium myrtillus*... еще раз... *vaccinium myrtillus*... черника... черника.

А вот *Vaccinium vitis-idea* — брусника, запомни, глупая голова, *Vaccinium vitis-idea* — брусника. И, наконец, *Vaccinium uliginosum*... *Vaccinium uliginosum*... это у нас ... это у нас... голубика. Все правильно — голубика.

Что за гербарий? Этот гербарий, мама, называется чай для почек. Сочинение о каникулах? Конечно, помню. Но сегодня Рождество, давай заниматься, чем душа просит. Ты готовь ужин — по всему, уже звезды высипали, а я расскажу тебе сказку, которую мне рассказывал старый волшебник Доцентус медикус.

Ну, слушай. Мочевые органы, *organa urinaria*. Парный орган бобовидной формы. Вещество ее с поверхности гладкое, темно-красного цвета. В почке различают верхний и

нижний концы, *extremitas superior* и *inferior*, края латеральный и медиальный, *margo lateralis* и *medialis* и поверхности, *facies anterior* и *posterior*. Почка окружена собственной фиброзной оболочкой, *capsula fibrosa*, в виде тонкой гладкой пластиинки, непосредственно прилегающей к веществу почки. В норме она довольно легко может быть отделена от вещества почки. Снаружи от фиброзной оболочки, особенно в области *hilum* и на задней поверхности, находится слой рыхлой жировой ткани, составляющий жировую капсулу почки *capsula adipose*; на... Что? С молоком? Нет, я же сливок к празднику купила. Как ты любишь, 22 процента. Перелей лучше в цветистый молочник... А... и что? Сахар? Давай на пробу и коричневый, и фруктовый...

...Так вот... на передней поверхности жир нередко отсутствует. Снаружи от жировой капсулы располагается соединительнотканная фасция почки, *fascia renalis*, которая связана... которая связана... я не подглядываю... Ну и запах от твоего яблочного штруделя! ...Которая — так уж и быть — связана волокнами фиброзной капсулой и расщепляется на два листка: один идет спереди почек, другой — сзади. По латеральному краю почек оба листка не соединяются вместе, а продолжаются дальше к средней линии порознь: передний листок идет впереди почечных сосудов, аорты и нижней полой вены и соединяется с таким же листком противоположной стороны...

...Я не прыгаю... Просто смотрю время... С чего ты взяла? Никого я не жду. Хотя... да — жду. Зайдет... один... За фильмом. Я обещала ... Лени Рифеншталь. Толстая священная корова она у священной горы... полный парадиз восторженной девы. А он должен SOS Айсберг посмотреть. Ну хорошо, не должен, хорошо бы было, если бы посмотрел! Так лучше?.. Ты знаешь, мама, у него от волос — коричный запах... И любимая нечистая сила тоже Пугачев... Ведь так не бывает? Скажи — не бывает?.. Познакомились? На курсах. Он экстернат заканчивает, потому что считает, что протяженность школьной программы избыточна, как пятнадцать финских падежей. Хотя это спорно... И знаешь, он умеет и говорить, и слушать... И не считает свое восприятие мира окончательным... И понимает мой почерк. Да, мою тайную клинопись... И принесет мне пьесы Гавела...

...Ну ладно, дальше... задний же листок проходит спереди от тел позвонков, прикрепляясь к последним. У верхних концов почек, охватывая также надпочечники, оба листка соединяются вместе, ограничивая подвижность почек в этом направлении. У нижних концов подобного слияния листков обычно незаметно. Фиксацию почки на своем месте осуществляют главным образом внутрибрюшное давление, обусловленное сокращением мышц брюшного пресса... Мам, как он позвонит, ты откроешь, а дальше я сама. Нет, лучше ты, мамочка, открой... Да-да, потом я, именно так — из-за кулис...

в меньшей степени *fascia renalis*, срастающаяся с оболочками почки; мышечное ложе почки...

ложе почки...

— Саньк, прав был гений?

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,

Und grun des Lebens goldner Baum.*

— Да, мама, да... Рождество! Мы попьем чаю и пойдем мерить лужи. Ну хорошо, сначала помечтаем. Загадаем что-нибудь.

— На жарком Востоке, средь гор и пустыни, лежит Святая земля... Мам, давай в рифму! Дальше... В той древней стране, известной нам всем, есть небольшой городок...

— Вифлеем!

— Умница, мама. Когда-то туда по приказу царя пришла записаться Иисуса...

— Семья!

— В яблочко! Сейчас имена их известны всем в мире: плотник Иосиф и дева...

— Мария!

— Все так... Весь город Иосиф с Марией прошли, но все же приюта себе...

— Не нашли.

— И только лишь в поле пещера с скотом им заменила временный...

— Дом.

— Это через две тысячи лет и назвали миграцией. В той самой пещере, немного спустя, у девы Марии родилось...

— Дитя!

— Вот такой вот happy end.

— Ну да, — говорит Марина-мама, — когда надежды нет, остается только идти, хотя в конце так и не можешь понять, как удалось уцелеть на этой дороге...

— Давай выключим свет... Верующий видит то, что невидимо.... Мы будем запасать на зиму дрова... собирать грибы... и нанизывать их на нитку... носить лукошками лесную малину, чтоб зимой пить с вареньем чай, слушать вой в трубе... и ожидать заветного гостя...

— Пока не потребует к ответу пуговичник.

— Пока не потребует к ответу пуговичник... А сочинение?.. ты не переживай... я напишу. Я напишу, как ездила в Бразилию. Почему — в Бразилию? Потому что про то, как ездила в Аргентину, я уже писала в прошлом году...

Да, конечно, я слышу — звонят...

Нам звонят... Лучше я

сама открою, мама...

*Суха, мой друг, теория везде,

Но древо жизни пышно зеленеет.

Иоганн Вольфганг Гете

Фауст (перевод Н.А. Холодковского)